

Анатолий Кузнецов

Бабий Яр (фрагмент)

Советская власть кончилась

От Советского Информбюро

Вечернее сообщение

21 сентября 1941 года

В течение 21 сентября наши войска вели бои с противником на всем фронте. После многодневных, ожесточенных боев наши войска оставили Киев. («Правда», 22 сентября 1941 г. Киев был сдан 19 сентября, а не 21 сентября, как сообщает сводка.)

Я увидел, как они бегут, и понял, что это конец. Красноармейцы — в своей защитной, выгоревшей форме, одни со скатками, иные уже и без ружей — редко побежали через дворы, по огородам, перепрыгивали заборы.

Говорили потом, что они забегали в дома, умоляли дать штатское платье, и бабы, давали поскорее какое-нибудь тряпье, они переодевались, надеясь скрыться, и бабы, топили в выгребных ямах бесполезное оружие и гимнастерки со знаками отличия.

Стало очень тихо. Много дней шли бои, гремела канонада, выли сирены, бомбежки были одна за другой, по ночам весь горизонт освещался зарницами и заревами, мы спали на узлах в окопе, земля тряслась и сыпалась нам на головы.

И вот стало тихо — та тишина, которая кажется страшнее всякой стрельбы. И было неизвестно, *где мы: еще под Сталиным, уже под Гитлером, или на узкой полосе посредине?*

С железнодорожной насыпи четко и близко чесанул пулемет. Со старого вяза над окопом посыпались мелкие веточки и листья. Я грохнул люком и обрушился в яму, где дед зашипел на меня и дал по уху.

Наш окоп, вырытый на огороде, был типовой противовоздушной защитой — «щелью» — тех времен: в форме буквы «Г», два метра глубиной, сантиметров семьдесят шириной. Такими щелями были изрыты дворы, скверы и улицы, советское радио призывало их рыть и объясняло, как.

Но мы с дедом работали несколько дней, улучшая схему. Земляные стенки мы обшили досками, пол выложили кусками кирпича, а сверху сделали покрытие. У нас, конечно, не было бревен, чтобы сделать три наката, но мы намостили поверх окопа полутораметровые дровяные плашки и вообще навалили сверху все дрова, какие только нашлись в сарае.

Дед рассуждал так: если на окоп упадет бомба, она, значит, шарахнет в эти дрова, поленья разлетятся, как бильярдные шары, а нас взрыв не достанет: куда ему, подлому, разрушить такую крепость!

Для прочности мы еще набросали на дрова земли, для маскировки обложили дерном, так что получился внушительный и ярко приметный холм, под которым, если опустить входной люк, было глухо и темно, как в могиле.

Наше счастье, что поблизости ничего не взорвалось, и не попал хотя бы приличный осколок, а то все эти дрова так бы и рухнули нам на головы. Но тогда мы этого еще не знали, гордились делом рук своих и были уверены, что сидим в великолепной безопасности.

Прежде, пока у нас не было такого хорошего бомбоубежища, мы с дедом и бабкой прятались от бомб под кроватью.

Кровать была старинная, добротная, со спинками из листового железа, на которых были нарисованы масляными красками картины: мельницы, озера с лебедями и замки. Мы думали так: если бомба упадет, она пробьет крышу, потолок, подпрыгнет на пружинном матрасе с периной, разорвется, а перина да еще два ватных одеяла осколков, естественно, не пропустят.

Чтобы не лежать на голом полу, бабка постелила и под кроватью одеяло, положила подушки, так что вышло очень уютно.

И когда начиналась стрельба и стекла зудели от воя бомбардировщиков, дед кидался под кровать первым. Он закатывался подальше и прижимался к стенке. За ним вкатывался кубарем я и прижимался к нему. А бабка, вечно замешкавшись у печки, прихватывала кота Тита, ложилась с краю, закрывая всех нас собой, и так мы спасались.

Дед шептал молитвы и ругался в мой адрес:

— От, гомон, чего ты крутишься, будто червяк в тебе сидит?

Закончив строительство нашего мощного окопа, мы стали бегать в него в той же последовательности, только бабка всегда

бежала с подушками и одеялом (она их в окопе не оставляла, чтобы не сырели).

Кот Тит привык к войне; при первых же выстрелах, задрав хвост, огромными прыжками неся прямо к люку в окоп и с мукой в глазах мяукал, чтобы его спустили. Потому что по отвесной лестнице он мог только вылезать, а спускаться не научился.

До сих пор не знаю, что это за слово — гомон. Дед умер, я забыл у него спросить. А червяк любознательности мучил меня всегда. Я высовывался, чтобы разглядеть самолеты и увидеть на них жуткие кресты, пытался разглядеть, как рвутся бомбы.

Но вот когда побежали красноармейцы и стало ясно, что это конец, мне стало страшно видеть это, по-настоящему, наконец, страшно.

В окопе горела керосиновая лампа, пахло чадом. Мать (до этого она днями и ночами дежурила в своей школе) сидела на табуретке с ужасом в глазах. Дед ел — он у нас всегда ел, когда волновался. Его седая борода, разделенная на два клинышка, резко двигалась, потому что из-за вставных челюстей он не жевал, а «жамкал», как говорила бабка, и крошки сыпались ему в бороду. Бабка едва слышно молилась, крестясь перед иконой Божьей матери, которую принесла сюда. Я сам забивал в доску гвоздик, чтобы повесить; эта икона мне нравилась, из всех бабкиных икон она была у меня самая любимая.

А в стенах за досками что-то тихо шуршало, возилось: там жили своей личной жизнью, абсолютно безразличной к войне, жуки и черви, и деятельные муравьи.

Земля, наконец, перестала вздрагивать и сыпаться с потолка. И в этой жуткой тишине казалось, что сейчас произойдет что-то ужаснейшее, какой-то немислимый взрыв.

Я сидел, едва дыша, ожидая этого взрыва...

Вдруг раздался глухой топот, люк поднялся, и соседка Елена Павловна, возбужденная, на себя не похожая, *закричала с радостным изумлением, с торжеством:*

— Что вы сидите? Немцы пришли! Советская власть *кончилась!*

Мне было двенадцать лет. Много для меня в жизни происходило впервые. Немцы пришли тоже впервые. Я прежде всех вылетел из окопа, зажмурился от яркого света и отметил, что

мир стал какой-то иной — *как добрая погода после шторма*, — хотя внешне как будто все оставалось по-прежнему.

Елена Павловна, захлебываясь, взмахивая руками, говорила умиленно, радостно:

— ... молоденький, такой молоденький стоит!... Мои же окна на улицу. Машина ушла, а он, молоденький, *хорошенький*, стоит!...

Я немедленно рванул через двор, взлетел на забор.

У ограды сквера на нашей Петропавловской площади стояла низенькая, хищная, длинноногая пушка на толстых надутых шинах. Возле нее — действительно очень молоденький, белокурый, розовощекий немецкий солдатик в необычно чистой и ладно сидящей на нем серо-зеленой форме. Он держал винтовку на весу, заметил, что я смотрю на него, и загордился. Очень мило загордился так, зафасонил.

Был у меня друг жизни, старше меня года на три, Болик Каминский, я еще о нем расскажу. Его эвакуировали с училищем фабрично-заводского обучения — ФЗО. Так вот этот парнишка был очень похож на друга моего Болика.

Понимаете, я ожидал всего: что немцы — страшные гиганты, что ли, все сплошь на танках, в противогазных масках и рогатых касках, и меня потрясло, что этот парнишка такой обыкновенный, ну, ничего особенного, совсем как наш Болик.

Зафасонил, ага, я б тоже зафасонил, имей такую пушку.

В этот момент раздался тот самый невероятный взрыв, которого я так ждал. Я задохнулся, ударился подбородком о забор, чуть не свалился. А солдатик позорно присел и съезжился, перепугано прижавшись к пушке.

Но нужно отдать ему должное: он тотчас опомнился, независимо встал и принялся смотреть куда-то вверх моей головы. Я обернулся и увидел, как в синем небе, за вершинами деревьев, опадают, крутятся и планируя, обломки досок.

— Ах, подорвали-таки мост, *проклятые босяки!* Э! — сказал дед, подходя к забору и высовывая нос, чтобы тоже поглядеть на первого немца. — Фью-фью, вот это да!... Ну куда ж с ними Сталину воевать, Господи прости. Это же — *армия! Это не наши разнесчастные — голодные да босые.* Ты посмотри только, как он одет!

Действительно, солдатик был одет превосходно. На газетных карикатурах и в советских кинофильмах немцев изображали оборванными бродягами и бандитами, *а советские воины были всегда красивые, подтянутые, розовощекие.*

Вздымая пыль, подлетела угловатая, квадратная и хищная машина, лихо развернулась (мы с дедом жадно смотрели), и такие же подтянутые, ловкие, как фокусники, молодые ребята-немцы прицепили пушку в один миг, повскакали на подножки и, вися по обеим сторонам машины, лихо умчались в сторону Подола.

— Да-а... — сказал потрясенный дед и перекрестился широко; — *Слава тебе. Господи, кончилась эта босяцкая власть, а я уж думал не доживу...* Ступай, помогай носить вещи в хату: в яме все отсырело. Будем теперь жить.

Не весьма охотно поплелся я к окопу. Там мама подавала из темной дыры узлы, чемоданы, табуретки, бабка принимала и складывала в кучу, а я стал носить.

Столько раз за последнее время мы это дело повторяли: в окоп, из окопа, вниз, вверх, хоть бы было что порядочное прятать, а то ж одни шмотки на шмотках, какой-то кожух царских времен, в заплатках, молью съеденный, *штаны застиранные*, подушки... В общем, занятие не для мужчины.

Из— за забора высунулась голова второго моего друга жизни -Шурки Мацы. Делая огромные глаза, он закричал:

— По трамвайной линии немцы идут! Пошли!

И меня как ветром сдуло.

Вся Кирилловская улица (*при советской власти она называлась улицей Фрунзе, но название не прививалось*), была, сколько видно в оба конца, забита машинами и повозками. Автомобили были угловатые, со всякими выступами, решетками, скобами.

У каждой машины есть лицо, она смотрит на мир своими фарами безразлично, или сердито, или жалобно, или удивленно. Так вот эти, как и первая, что увезла пушку, смотрели хищно. Отродясь я не видел таких автомобилей, и мне казалось, что они очень мощные, они заполнили улицу ревом и дымом.

Кузова некоторых грузовиков представляли собой целые маленькие квартиры, с койками, привинченными столами.

Немцы выглядывали из машин, прогуливались по улице — чисто выбритые, свежие и очень веселые. *Будешь свежим и*

веселым, если у них пехота, оказывается, не шла, а — ехала! Они смеялись по любому поводу, что-то шутливо кричали первым выползающим на улицу жителям. Между фурами со снарядами и мешками лихо юлили *мужественные* мотоциклисты в касках, с укрепленными на рулях пулеметами.

Доселе нами невиданные, огромнейшие, огненно-рыжие кони-тяжеловозы, с гривами соломенного цвета, медлительно и важно ступая мохнатыми ногами, запряженные шестерками, тянули орудия, будто играючи. Наши малорослые русские лошаденки, *измордованные и полудохлые*, на которых отступала Красная Армия, показались бы жеребьями рядом с этими гигантами.

В ослепительных белых и черных лимузинах ехали, весело беседуя, офицеры в высоких картузах с серебром. У нас с Шуркой разбежались глаза и захватило дыхание. Мы отважились перебежать улицу. Тротуар быстро наполнялся, *люди бежали со всех сторон, и все они, как и мы, смотрели на эту армаду потрясенно, начинали улыбаться немцам, в ответ и пробовать заговаривать с ними.*

А у немцев, почти у всех, были книжечки-разговорники, они листали их и кричали девушкам на тротуаре:

— Панэнка, дэвушка! Болшовик — конэц. Украина!

— Украина, — смеясь, поправили девушки.

— Йа, йа! У-край-ина! Ходит гулят шпацирен битте!

Девчонки захихикали, смущаясь, и все вокруг посмеивались и улыбались.

От Бондарского переулка образовалось какое-то движение: видно было, как торжественно плывут головы, и вышла процессия стариков и старух.

Передний старик, с полотенцем через плечо, нес на подносе круглый украинский хлеб с солонкой на нем. Толпа повалила на зрелище, затолкались.

Старики опоздали и растерялись: кому вручать?

Передний двинулся к ближайшему белому лимузину, откуда, улыбаясь, смотрели офицеры, и с поклоном подал поднос. Мы с Шуркой потеряли друг друга. Я изо всех сил пытался протиснуться. Там что-то говорили, грохнул смех, задние спрашивали: «Что он сказал? Что он сказал?» — но колонна двинулась дальше, я только

увидел, как в проезжающем автомобиле офицер передавал хлеб с полотенцем на заднее сиденье.

Вокруг стали говорить, что где-то тут немцы кричали: «Масло, булки!» — и сбросили прямо на трамвайную линию ящик с маслом и корзины с булками — бери, мол, кто хочешь. Я заметался, пытаюсь понять, где это, и побежал к мосту над Вышгородской улицей.

У моста масла и булок не оказалось, но был пожар. Угловой кирпичный дом горел спокойно и лениво, подоженный влетевшим в окно снарядом. Забор уже свалили прямо на росшие у дома цветы, по ним топтались. Две женщины и девочка лопатами копали землю и кидали на огонь, потому что воды не было. Из толпы зевак вышел мужчина, взял палку и стал безжалостно бить стекла в окне.

Немец спрыгнул с машины, прицелился фотоаппаратом, приседал и выгибался, снимая пожар крупным и общим планом.

Мужчина полез в окно и стал подавать женщинам стулья, ящики с бельем из шкафа, вышвыривал пальто и платья, и все его хвалили, и я тоже подумал: какой молодец!

Войска продолжали тучей валить из-под моста. Ярко светило солнце, не было никакой пальбы — только рев моторов, грохот колес, голоса, смех. После долгого сидения в яме я совсем одурел от всего этого; пошатываясь, побрел домой отчитываться.

А у нас во дворе стоял серо-зеленый солдат с ружьем через плечо и с веревкой в руках — простецкий такой, с белесыми ресницами и красным лбом, равнодушно поглядывал по сторонам, а дед, жестикулируя, приглашал его в сарай:

— Тут ниц, ниц, ниц, а там, может быть, ист! Надо посмотреть, битте. Солдат неохотно поплелся в сарайчик.

— Они пленных ищут, — сказала мне бабка с крыльца.

В сарае был люк в погребок. Солдат стал показывать руками:

— Шпицки, пшицки.

Дали ему спички. Он зажег и осторожно заглянул в дыру.

— Партизан! — громко и иронически сказала бабка.

Солдат отпрыгнул, как ужаленный, вертя головой и подозрительно глядя на всех нас.

— Я смеюсь, — сказала бабка, — иди, иди, не бойся. Нет партизан.

Но солдат что-то недовольно сказал, в погреб лезть не захотел, а строго показал деду на красный домовый флаг, который мы по праздникам должны были вывешивать на воротах.

— Это.

— Да, да, — засуетился дед, взял флаг и оторвал от древка. — Марфа, скорей кинь в печку. *А палка хорошая, на метлу пойдет.*

Пришел другой солдат, тоже с веревкой, возбужденно кликнул первого, и они побежали. Бабка поманила меня в сени.

— На, полезь на чердак, засунь там, в газету какую-нибудь заверни.

— *Да на что он, бабка?*

— *Никто ничего не знает, сынок... Да и у немцев вон красные флаги, велят цеплять — опять новую материю покупай. Делай, сынок, как я говорю.*

Я понял. Полез на чердак, пробрался по-пластунски в дальний угол, затискал сверток под балку, а когда, наевшись паутины, спустился, бабка стояла в воротах с Еленой Павловной и звала:

— Старый! Иди быстро, партизана ведут.

Наш краснолобый солдат вел по улице здоровенного грязного кабана, захлестнув его веревкой поперек туловища, другой подгонял хворостиной, и вокруг шли еще другие солдаты кучкой, удовлетворенно голготали.

Делая большие глаза и ахая, Елена Павловна рассказывала, что солдаты совсем не пленных ищут, а... грабят. И у Каминских взяли кабана, и кожухи тащат, а у нее заглядывали в шкаф, под кровать, сняли с подушек наволочки и зачем-то полотенце с гвоздика. Сосед не хотел отдать кабана, так они оставили расписку, сказав: «Офицер плати». Нам, выходит, повезло, если ничего не взяли, может, оттого, что дед немецкие слова говорил, они постеснялись.

Дед озабоченно посмотрел вслед мужественной вооруженной процессии с кабаном.

— А ну, — строго сказал он, — давайте носить вещи обратно в окоп. Трясця его матери, я и забыл, это же их право победителя: три дня грабить все, что хотят!

Измолоченный, покачиваясь, я вышел наружу, увидел, как из продовольственного волокут мешки с солью, но, пока я добежал, там остались лишь бумага да пустые ящики.

Я готов был зарыдать, я сроду не был жадным, был у бабушки таким воспитанным, вежливеньким внучком, и вдруг этот грабеж захватил меня, как горячая лавина, у меня горло сдавило от жадности и азарта.

И, главное, я понимал, что это был неповторимый, редчайший случай — так богато, так великолепно, так безнаказанно пограбить. А я все пропустил, опоздал на какую-то малость!... Что значит отсутствие опыта. «Ну, ладно же, — подумал я, утешая сам себя. — Зато уже в следующий раз...» А когда же он будет, этот следующий раз?...

Собрал с горя по прилавкам гири от весов и понес все добро домой.

Из окон, из ворот выглядывали люди. Сосед Павел Сочава на всю улицу иронически сказал:

— А вот и Толя нагробил. Иди скажи своей матери, чтобы она тебя выпорола.

Меня словно окатили холодной водой. Я так гордо нес свою лампу и щетки, а тут поскорее юркнул во двор, выгрузил в сенях добычу... Мама ахнула:

— Это что еще такое?

Бабка посмотрела, качнула головой:

— Или у нас лампы нет, сынок?

Зато дед меня понял и похвалил:

— А вот и пусть! Молодец! *Большевики сами у народа все ограбили да втридорога же и продавали, это наше.* Ах, я не знал, прозевал, ах, прозевал!

Шатковский вон пол-«Гастронома» вынес, бочку с подсолнечным маслом прикатил. Какой был случай! А тут только нас грабят.

Оказывается, пока я был на базаре, пришли шесть солдат, потребовали: «Яйка, млеко!» — полезли всюду, как у себя дома, забрали картошку, капусту, помидоры...

Ну, чертовщина, гляди, что на свете делается: одни там грабят, другие, значит, тут. Дела!

Меня все еще трясло от возбуждения и подстегнула дедова похвала, я побежал звать Шурку Мацу, мы вдвоем понеслись опять

на базар. Он был уже пуст. Как мы ни шарили — ничего, как метлой подметено, магазины усыпаны только бумагой, соломой и стеклом. В обувном мы залезли в кассу, стали крутить ручку. *Навыбивали себе чеков на тысячи рублей, вышли, разбрасывали их по улице и, уже равнодушные, смотрели, как в город все вступают и вступают войска.*

Шли тягачи, вездеходы, ехали колонны солдат на велосипедах и обозы на простых телегах. Те, что вошли и разместились, носили узлы с барахлом, перекинутые через плечо шубы.

Поднялся ветер, гонял солому и бумагу, нес дым от машин, войска все шли, шли тучей, и не было им конца, и все исправно, как саранча, принимались что-нибудь тащить. Спокойный такой, вроде нормальный, прозаический грабеж... Это была пятница, 19 сентября 1941 года.

Итак, мы в этой новой жизни

КИЕВ В РУКАХ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК

*Главная квартира Фюрера 20 сентября
Верховное Командование
Немецких Вооруженных Сил сообщает:*

Наряду с операциями по окружению советских армий на востоке было начато наступление на столицу Украины — Киев. После отважного прорыва сильных укреплений на западном берегу Днепра наши войска вошли в город. Над цитаделью Киева с сегодняшнего утра развевается немецкое военное знамя.

Наступательные операции на восток от Днепра неудержимо идут вперед. В боях за укрепления Ленинграда имеем крупные успехи... («Українське слово», 21 сентября 1941 г. Газета на украинском языке, издававшаяся оккупационными властями.)

Газета «Украинское слово» к моменту взятия немцами Киева вышла пятнадцатым номером, печатаясь сперва в Житомире. Ее не то продавали, не то раздавали на улицах торжествующие энтузиасты, это дед ее добыл, как святыню принес и жадно хотел читать.

Но в чтении мелкого шрифта, да еще на дрянной, словно оберточной бумаге, он не был силен и перепоручил это дело мне, сам же слушал, философски осмысляя.

Привожу только заголовки из этой газеты:

Киев в руках немецких войск полтава занята
Выдающиеся успехи под ленинградом
Занятие дальнейших территорий под ленинградом
100.000 кгр. бомб сброшено на порт одессы
Гигантские достижения немецких войск в боях на плацдарме
нижнего течения днепра
Борьба украинского народа
Рост искусства в житомире
Возрождение церкви на холмщине «киеву», стихотворение
якова нагорного.

...Здесь я сделаю традиционное отступление и хотя бы самым беглым образом расскажу о нашей маленькой семье: кто мы были, какие и почему.

Сам я терпеть не могу в книгах подобные отступления, пропускаю их, и если вам мое отступление покажется неинтересным, вы тоже смело пропускайте его, потому что главное в этой книге — гораздо дальше.

Но если вам интересно, как человек мечтает о Гитлере, прочтите хотя бы про моего деда.

СЕМЕРИК Федор Власович, мой дед, ненавидел советскую власть всей своей душой и страстно ждал немцев, как избавителей, полагая, что хуже советской власти уж ничего на свете быть не может.

Нет, он отнюдь не был фашистом или монархистом, националистом или троцкистом, красным или белым, он в этом вообще ни черта не смыслил.

По происхождению он был из украинских крепостных, крестьянин-бедняк. По социальному положению — городской рабочий с долгим стажем. А по сути своей — *самый простой, маленький, голодный, запуганный обыватель Страны Советов, которая ему — мачеха.*

Дед родился в 1870 году — в одном году с Лениным, но на этом общее между ними кончалось. *Дед не мог слышать самого имени Ленина, хотя тот давно умер, как умерли или были перебиты многие ленинцы. Он считал, что именно от Ленина все беды, что тот «играл в Россию, как в рулетку, все проиграл и сдох».*

Когда он такое говорил, бабка в ужасе оглядывалась по сторонам и демонстративно восклицала во дворе:

— Перестань молоть, малахольный. Вот хорошие люди умирают, а ты, паразит, все живешь.

Дед родился и вырос в селе Шендеровке Каневского уезда, в какой-то отчаянной селянской семье с одиннадцатью детьми, жившей, по его словам, в полуразрушенном курене.

Юность он провел в батраках у немецких колонистов на Херсонщине, навсегда оставив семью. Отслужив в солдатах, пошел на заработки в Киев, слонялся в поисках работы, был дворником у генерала, женился на прачке, пошел на трамвай кондуктором и все мечтал о своем домике и достатке: чтоб можно было досыта наестся и не думать о завтрашнем дне — вот был предел его мечтаний.

Они с бабкой голодали, холодали, складывали копейку к копейке, угробили свою молодость, но купили, наконец, крохотный кусочек болота на Куреневке, сами осушили его, сами долго строили хату — и тут грянула революция.

Добра она не принесла, лишь новый голод, страх, — и начисто отняла мечту. Красивым словам большевиков о земном рае в туманном будущем дед не верил. Он был практик.

Много лет затем дед работал на обувной фабрике № 4 слесарем-канализатором, *в вонючей робе лазил с ключами по трубам, ранился у станка — уж такой рабочий класс, что дальше некуда.* И все эти годы он не переставал ненавидеть власть «этих босяков и убийц» и «нет, не хозяев».

Его, бывшего крестьянина, в окончательный ужас привела коллективизация с ее колхозами, вызвавшая невиданный голод. Строительство заводов, шумно расписываемые в те годы Днепрогэс, завоевание Северного полюса там или неба — были деду решительно «до лампочки».

Северный полюс завоевали, зато когда дед с бабкой завели, наконец, свою радужную мечту — корову, ее нечем было

кормить. Очереди за комбикормом были, как туча. Рядом с хатой, за железнодорожной насыпью огромный *богатый* луг *пропадает*, а пасти нельзя. Как уж дед ни изворачивался, кому только ни совал, чтобы достать сена! Рыскал с мешком и серпом по Бабьему и Репьяхову Ярам, *аккуратно срезал траву под заборами*. Сам не пил молока — посылал на базар бабку продавать. *Помнил, что у барина-немца была корова, дававшая в день три ведра молока, и думал, что если нашу облезлую Лыску кормить, она, может, тоже столько будет давать*.

В общем, он был великий комбинатор. И *от постоянных неудач, судорожной бедности противен стал* и завистлив необычайно. Завидовал половине Куреневки, особенно тем, у кого был хороший огород и кто мог таскать корзинами на базар редиску. Куреневка испокон веков спасалась редиской, а также поросятами и курами, глухая ко всяким наукам, искусствам или политике, вернее, требуя в политике одного: чтоб разрешали продавать редиску.

У Горького в «Детстве» есть такая песня:

Один нищий вывесил портянки сушить,
А другой нищий портянки украл.

Так вот мой дед был завистлив. Но ему не дотянуться было до подлинных куреневских «куркулей»: огород его можно было измерить ладонями, *полоски шагов в восемь шириной*, у хаты и сарайчика. За забором были грядки коллективного огородного хозяйства. Однажды ночью дед выкопал новые ямки и перенес забор на полметра, украв у огородников метров пять квадратных земли, и равнодушное колхозное начальство этого не заметило! Дед целую неделю был в отличном настроении и торжествовал, строя планы, как через несколько лет он снова подвинет забор на полметра.

К старости он стал страшно вздорный, тайком обрывал соседские груши, свешивавшиеся через забор на «его землю», убивал палкой соседских кур, если они забредали к нам, и потому он перессорился со всей улицей.

Когда он, брызжа слюной, ругался, слышно было до самого базара: «У-ту-ту-ту!» — и его прозвали «Семерик-тру-ту-ту-три-ведра-молока».

Водки дед не пил от скупости, не курил, в кино не ходил, на трамвае старался проехать зайцем, штаны и пиджаки донашивал до того, что они сопревали и расплзались на нем. Если по улице ехал воз с сеном и терял клочок, дед первым оказывался на мостовой, старательно сгребал палочкой клочок и с торжеством нес домой.

Корова не оправдала себя, пришлось продать.

Дед на пробу завел уток, мы с ним ходили на пруд, бултыхались там с драной корзиной, собирая «ряску», чтоб их кормить, да на ряске утки выросли костлявые, мослатые.

Дед переключился на кур: те, мол, ходят, гребутся и сами добывают себе пропитание. Куры с голоду щипали рассаду на грядке, а нестись не хотели. Заводил поросят, чтоб не пропадали объедки и помои. Поросята у деда росли длинноногие, мускулистые, поджарые, как гончие псы. И как раз перед приходом немцев оба поросенка заболели чумкой и сдохли. Пришлось закопать.

Очень энергичный был дед, воевал и толокся целый день с рассвета до темна, но разбогатеть не мог.

[Были вокруг такие, что «жили»: партийцы, чекисты, воры, стукачи, разные профсоюзные деятели. Раскатывали в казенных автомобилях, нежили брюхо на кавказских курортах, получали в конвертах секретные зарплаты. Дед за свое ужасное лазанье по канализационным трубам получал жалованье в месяц вдвое меньшее, чем стоил простой костюм. И за всю жизнь костюма у него не было, он так и умер, не поносив ни разу костюм.

Но были люди, которые смотрели на жизнь дедовой семьи, как на райское благо. В колхозах вокруг Киева крестьяне работали, как при крепостном праве. Нет, хуже. При крепостном праве помещик оставлял им дни для работы на себя, на своем маленьком поле. А в колхозе человек не имел и таких дней, как не имел и поля. За выход на работу ему ставили в ведомости палочку — «трудодень», а осенью что-то платили, а может не платили, а то платили одну копейку за трудодень.]

Так что когда приходил гость, у моего деда была только одна тема для разговора: как в старину было хорошо, и люди были сыты, и богатели, а большевики-босяки все загубили.

Но когда в 1937 году его дружка, старика Жука, арестовали за рассказанный в очереди глупый анекдот, *и этот Жук сразу пропал без вести, как утонул*, дед страшно перепугался, замкнулся,

и у него осталось только полтемы, то есть как в старину было хорошо.

Я полагаю, что он был так же прав, как и неправ. Это самое «хорошо» — познается лишь в сравнении. И бедному деду моему в 1937 году царская Россия уже казалась справедливым, потерянным раем.

Он почему-то не вспоминал курень своего отца, арендовавшего клочок чужой земли, но запомнил, как славно жил генерал, и как он был щедр. Какие при царе были цены: булка стоила пять копеек, селедка две копейки, *а на воблю никто и смотреть не хотел.*

Про свою же ненависть к большевикам он теперь рассказывал только Богу, *подолгу стоя перед иконами на коленях, и все шептал, шептал, страстно рассказывал им что-то: знал, что уж кто-кто, а Бог выслушает — и не продаст.*

И вот вскоре после начала войны на нашу крышу упала немецкая листовка и с утренней росой прилипла там у трубы. Дед увидел, приставил лестницу и послал меня достать. С трудом я снял раскисший листок, и мы стали читать.

В листовке писалось, что Германия призвана уничтожить большевиков и устанавливает новый, справедливый порядок, *когда «кто не работает — тот не ест», зато «каждый, кто честно трудится, получает по заслугам».* Что жизнь на освобожденной земле прекрасна: масло стоит десять копеек фунт, хлеб — семь копеек, селедка — три.

У деда полезли глаза на лоб. Это было послание лично ему.

Он выучил листовку наизусть, только после этого порвал на маленькие клочки. Ему шел семьдесят второй год, и вот его мечта — *с ума сойти!* — возвращалась, *и может на лугу еще будет пастись его корова, дающая три ведра молока, и в доме будет запас еды, на завтрашний день и даже на послезавтрашний день, и может быть он даже купит себе, наконец-то, первый костюм.*

СЕМЕРИК (в девичестве ДОЛГОРУК) Марфа Ефимовна, моя бабушка, родилась и выросла в селе Деремезна Обуховского уезда, в проклятущей халупе, где, как и в дедовой семье, некуда было плюнуть из-за детей.

[Детство великого украинского поэта из крепостных Тараса Шевченко прошло в такой халупе:

Не называю її раем

Мої там сльози пролились,
Найперші сльози. Я не знаю,
Чи є на світі люте зло,
Щоб у тій хаті не жило.]

Их там было так много, бабкиной родни, в Деремезне, и в Перегоновке, и в Киеве «по наймах», что я так никогда и не разобрался, сколько их, кто кем мне приходится: Гапка и Конон, Ганна и Нина, Фома и юродивая Катька... Они иногда приезжали, бабка их кормила, дарила кому старую юбку, кому стоптанные калоши.

Только о юродивой Катьке я понял, что она мне — двоюродная тетка. После тифа она впала в слабоумие, стала нищенкой, она сидела с сумой под церквями, просила по дворам, приносила кусочки хлеба в суме, дед накидывался и отбирал для поросят, бурча: «Подумать только, вот же живут эти нищие, а сколько им на Пасху подают!»

Я любил ее, Катьку, она была, как святая, безобидная и добрая. Если ей подавали конфетку, она ее непременно берегла для меня, а иногда на собранные копейки покупала на базаре мне гостинец — глиняную свистульку-лошадку. Я потом и вырос, а она этого не замечала, приносила свистульки и все что-то невнятно бормотала, бормотала... Умерла она на улице, тихо и незаметно, как погибают воробьи, ее погрузили на телегу и где-то закопали.

Двенадцати лет бабка моя пошла в люди, нянчила чужих детей, была прислугой, потом стала прачкой. Как я ни спрашивал, она никогда не хотела вспоминать ни молодость свою, ни любовь, может, потому, что вспоминалась одна муть.

Она была совершенно неграмотна. Не знала даже цифр. Бумажные деньги она различала по рисунку и цвету, монеты — по величине.

Поскольку мать моя, учительница, работала в школе по две смены да еще оставалась после уроков, я полностью вырос при бабке. Она меня будила, умывала, кормила, лупила, забавляла украинскими «казочками», и все она топала, варила, мешала, толкла, делала пойло поросенку, гоняла кота, гнулась на грядках, колола дрова, и у нее постоянно болела поясница, так что она время от времени ложилась, тихо стонала, потом поднималась и опять бралась за работу.

Она была мягкая, рыхлая, с грубым деревенским лицом, всегда в сером ветхом платке или косынке в горошек.

Как и деда, ее не восхищали ни самолеты, ни дирижабли, которые тогда летали, наоборот, они ее пугали. Укладывая меня на печи спать, она рассказывала:

— Так, когда я маленькой была, забьемся мы на печку, один к одному лепимся, голенькие, босенькие, голоднючие, как черва, а бабуся наша покойная пугает: вы сидите тихо, это еще хорошо, а придет время, страшное время, когда по земле пойдет враг, и всю землю опутают проволоками, а в небе будут летать железные птицы и клювами своими железными будут клевать людей, и то уже будет перед концом света...

Конец ознакомительного фрагмента

Эту книгу Вы можете взять:

- в отделе абонемента по адресу г. Оренбург, ул. Правды, 7
- в читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20.

Получить доступ к электронной версии книги Вы можете в электронном читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20, 2 этаж.